

Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович

**В среде умеренности и
аккуратности: Очерки**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-311.8
ББК 84-4
М69

М69 **Михаил Евграфович С.**
В среде умеренности и аккуратности: Очерки / Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович –
М.: Книга по Требованию, 2025. – 367 с.

ISBN 978-5-519-84505-2

Содержание: Господа Молчалины; Отголоски: День прошел - и слава богу. На досуге.
Тряпичкины-очевидцы. Дворянские мелодии

ISBN 978-5-519-84505-2

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2025
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2025

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг — не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель — вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания — решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

I.

Бываютъ такія минуты затишья въ исторіи человѣческой общественности, когда человѣку ничего другого не остается желать, кромѣ тишины и безвѣстности. Это минуты, когда дѣятельная, здоровая жизнь словно засыпаетъ, а на ея мѣсто вступаетъ въ права жизнь призраковъ, миражей и трепетовъ; когда общество не только не заявляетъ ни о какихъ потребностяхъ или интересахъ, но даже, повидимому, утрачиваетъ самую способность чѣмъ-либо интересоваться и что-либо желать; когда всякій думаетъ только о себѣ, а въ сосѣдѣ своемъ видитъ ненавистника; когда подозрительность становится общимъ закономъ, управляющимъ человѣческими дѣйствіями; когда лучшіе умы обуреваются однимъ страстнымъ желаніемъ: бѣжать, скрыться, исчезнуть.

Въ такія минуты слишкомъ выдающаяся извѣстность можетъ очень серьезно компрометировать. Однихъ—въ глазахъ современниковъ, другихъ—въ глазахъ потомства. Первое даетъ себя чувствовать непосредственно и отравляетъ жизнь неосторожно прославившагося человѣка въ настоящемъ; второе, хотя и не сказывается осязательно въ настоящемъ, но нужно быть или совѣмъ безумнымъ, или совѣмъ безсовѣстнымъ, чтобы не понимать, что попасть въ исторію съ нехорошимъ прозвищемъ—все-таки вещь далеко не лестная.

Примѣровъ громкой извѣстности первой категоріи я

указывать не стану. Для насъ покамѣсть это еще дѣло новое, хотя въ людяхъ, которыхъ жизнь представляетъ сплошную борьбу съ квартальными надзирателями, и у насъ недостатка нѣтъ. Изъ репутацій второй категоріи укажу на извѣстнаго англійскаго судью Джеффриза, который былъ настолько безсовѣстенъ, что совсѣмъ позабылъ о существованіи исторіи и ея суда. Однако, исторія вспомнила о немъ и заклемила его имя неувядаемымъ позоромъ, въ томъ, конечно, расчетѣ, что примѣръ этого чудовища послужитъ спасительнымъ предостереженіемъ для воспитанниковъ среднихъ учебныхъ заведеній. У насъ подобныхъ блестящихъ репутацій до сихъ поръ не было; тѣмъ не менѣе, фамилія тайнаго совѣтника Шешковского въ свое время пользовалась настолько громкою извѣстностью, что быть приглашеннымъ къ нему считалось честью не совсѣмъ безопасно. И что же! даже наша скромная исторія, олицетворяемая „Русскою Стариною“ и „Русскимъ Архивомъ“, уклоняется отъ выдачи похвального аттестата его громкой дѣятельности!

Я увѣренъ, что еслибъ Шешковскій могъ провидѣть, что на страницахъ „Русской Старины“ будутъ, отъ времени до времени, появляться анекдоты объ его подвигахъ, то онъ отъ многого воздержался бы. Съ этой точки зрѣнія, воспитательное значеніе „Русской Старины“ не можетъ подлежать никакому сомнѣнію, и остается только сожалѣть, что дѣйствіе его возымѣло начало такъ недавно. Имѣй Шешковскій хотя смутное представленіе о силѣ историческихъ обличеній, онъ сказалъ бы себѣ: „чортъ возьми! у меня есть сынъ (этотъ сынъ, дѣйствительно, существовалъ, но не вдолгъ безслѣдно исчезъ), у меня могутъ быть внуки и правнуки—каково имъ будетъ читать въ „Русской Старинѣ“ рассказы о „малороссійскомъ борцѣ“ (деликатная замѣна слова „розги“), или объ особой конструкціи креслѣ, въ которое я, для пользы службы (то есть, для наказанія на тѣлѣ), имѣю обыкновеніе сажать своихъ пациентовъ! Вѣдь я думалъ, что все это останется шито и крыто, и вдругъ... Нѣтъ! лучше практику эту оставить!“ И мы

ничего не знали бы ни о малороссійскомъ борщѣ, ни о креслѣ особаго устройства, ни даже о самомъ Шешковскомъ. Да, и о Шешковскомъ ничего не знали бы, ибо что такое Шешковский, отрѣшенный отъ борща, кресла и другихъ атрибутовъ его достославной спеціальности?—Это Ивановъ, Сидоровъ, Ѳедоровъ, Пафнутьевъ,—словомъ, одна изъ тѣхъ личностей, которыхъ Грибоѣдовъ возвелъ въ перлъ созданія въ лицѣ Молчалина, и которыхъ и современники, и потомство разумѣютъ подъ темнымъ наименованіемъ „и другіе“. Настигнуть этихъ „и другихъ“, обличить ихъ въ чемъ бы то ни было—ни „Русскій Архивъ“, ни „Русская Старина“ не въ состояніи. Это люди до того безъанекдотные, что упоминовеніе именъ ихъ произвело бы на читателя то же самое дѣйствіе, какъ, напримѣръ, перепечатка ревизскихъ сказокъ.

И Шешковский поступилъ бы несомнѣнно благоразумно, еслибъ, не настаивая на томъ, чтобъ быть тѣмъ знаменитымъ Шешковскимъ, какимъ мы его знаемъ, прямо погрузился бы въ пучину „и другихъ“. Это было бы съ его стороны актомъ мудрой предусмотрительности, потому что, въ сущности, эти „и другіе“, эти Молчалины и суть „излюбленные люди“ тѣхъ историческихъ моментовъ, о которыхъ идетъ рѣчь. Они полнѣйшіе выразители современной имъ дѣйствительности, они дѣятельнѣйшіе, хотя, быть можетъ, и не вполне сознательные созидатели тѣхъ сумерекъ, благодаря которымъ настоящій заправскій человѣкъ не можетъ сдѣлать шага, чтобъ не раскроить себѣ лба. Они одни сохраняютъ, среди этихъ сумерекъ, остроту зрѣнія, одни видятъ и различаютъ. Что различаютъ?—различаютъ ту счастливую область умѣренности и аккуратности, подъ сѣнію которой зиждется человѣческое благополучіе, скромное, но прочное, несопровожаемое трубными звуками, ни блескомъ апоѳеозъ, но, въ замѣнъ того, вполне удовлетворившееся и успокоившееся въ самомъ себѣ. И что всего важнѣе—благополучіе, до котораго нѣтъ дѣла ни современникамъ, ни исторіи.

О, счастливые, о, стократъ блаженные Молчалины! Они безшумно, не торопясь, переползаютъ изъ одного періода исторіи въ другой, никому не бросивши слова участія, но и никого не вздернувши на дыбу (то-есть, быть можетъ, кого-нибудь и вздернули, но, ей-Богу, не сами собой)! Никто ими не интересуется, никто не хочетъ знать, дѣлаютъ ли они что-нибудь, или просто сидятъ и бьютъ въ баклуши, никто не трепещетъ и не благоговѣетъ передъ ними... какой прекрасный, блаженный удѣлъ! И за то они во вѣки вѣковъ не перестанутъ быть „и другими“; за то дѣтямъ ихъ нечего будетъ стыдиться, все равно какъ бы они родились безъ отцовъ; за то сами они имѣютъ право ежедневно засыпать съ сладкой увѣренностью, что ни полиція современности, ни полиція будущаго не предъявитъ къ нимъ ни малѣйшаго иска... И имъ никогда, никогда не будетъ надобности обращаться къ помощи адвоката Легкомысленнаго, дабы исходатайствовать для себя у суда увеличивающихъ вину обстоятельствъ! Зачѣмъ? какой судъ въ цѣломъ мірѣ найдетъ хотя единую вину за человѣкомъ, которому имя „и другіе“?

Ужели это не блаженство! спрашиваю я всѣхъ и каждого, кто хоть мало-мальски ревнуетъ о цѣлости своей шкуры!

Я вовсе не намѣренъ характеризовать здѣсь признаки тѣхъ историческихъ моментовъ, въ продолженіи которыхъ умѣренность и аккуратность представляютъ счастливѣйшее условіе и надежнѣйшую ограду человѣческаго существованія. Подобнымъ моментамъ даютъ очень разнообразныя клички, которыя, однакожъ, всѣ болѣе или менѣе группируются около одной, резюмирующей въ выраженіи „переходныя эпохи“ Но я съ своей стороны нахожу, что всѣ усилія оправдать жизненный сумбуръ какими-то таинственными переѣздами изъ одной исторической области (извѣстной) въ другую (неизвѣстную) — по малой мѣрѣ, бесплодны. Такія оправданія могли бы быть допущены, еслибъ впереди предстояло непременно нѣчто лучшее и болѣе утѣшительное, но куда же они годны, если мы, вмѣсто лучшаго, фаталистически осуждены

встрѣчаться лицомъ къ лицу съ пословицей: „изъ куля въ рогожу“?

Поэтому, я съ нѣкоторою подозрительностью отношусь къ подобнымъ объясненіямъ, и совершенно серьезно думаю, что они скрываютъ за собой великое множество ложныхъ надеждъ и самыхъ вредныхъ успокоеній. Человѣкъ любитъ успокоиваться въ ожиданіи будущихъ благъ, даже еслибъ послѣднія были и не совсѣмъ для него ясны. Онъ слишкомъ склоненъ утѣшать себѣ тѣмъ, что зло есть плодъ переходныхъ порядковъ, и что, вотъ погодите, не нынче, такъ завтра—все установится прочно на своихъ мѣстахъ, и тогда добродѣтель предстанетъ во всемъ сіяніи торжества. Но вотъ, проходятъ годы, десятки лѣтъ, столѣтія; добродѣтель давно уже возсіяла, а толку все нѣтъ. Въ ухахъ все съ тою же назойливостью жужжитъ безконечная, за душу тянущая пѣсня: „вотъ погодите, не нынче, такъ завтра“... Гдѣ ручательство, что она не будетъ жужжать и впредь десятки и сотни лѣтъ? Нѣтъ, видно есть въ Божьемъ мірѣ уголки, гдѣ всѣ времена—переходныя, и гдѣ человѣкъ, одаренный практическимъ смысломъ и имѣющій попеченіе о своей шкурѣ, долженъ начать съ того, чтобы, отказавшись отъ всякихъ запутанныхъ объясненій, прямо сказать себѣ: живемъ хорошо, ожидаемъ лучше. И затѣмъ... успокоиться навсегда.

Вотъ въ этихъ-то мирныхъ уголкахъ, гдѣ идиллія счастливымъ образомъ совпадаетъ съ правилами устава о преступленіи и предупрежденіи проступковъ и преступленій, умѣренность и аккуратность и представляютъ счастливѣйшій удѣлъ человѣческаго существованія. Быть Молчалинымъ, укрываться въ сѣрой массѣ „и другихъ“—это цѣлая эпопея блаженства! Тутъ все: и сертификатъ мѣстнаго квартала о благонадежности, и свобода отъ приговоровъ исторіи и потомства. Кварталь, нисколько не сумнясь, запишетъ въ своей исторіи живота: *М о л ч а л и н ъ* живетъ на Пескахъ (или въ Москвѣ, подъ Донскимъ)—*ни въ чемъ не замѣченъ*. Исторія, въ лицѣ „Русской Старины“, отмѣтитъ: *М о л ч а л и н ъ*, многу-

численное племя, разсѣянное по лицу вселенной,—*ни въ чемъ не замѣченъ*. Аттестация, конечно, стоящая немногимъ больше ломаннаго гроша, но неужели она хуже слѣдующей: Ж и в о д е р о в ѣ (имя рекъ)—заклеймилъ себя неуваждаемымъ позоромъ во время и т. д.

Не забывайте: исторія не терпитъ послабленій въ своихъ приговорахъ. Даже въ Сенекамъ и Галилеямъ относится она съ нѣкоторою придирчивостью, а сообразите-ка, много ли Галилеевъ найдется у насъ, напримѣръ, въ Колтовской?

Не надобно, однакожь, думать, что Молчалины до такой степени погружены въ тину безвѣстности, что самое существованіе ихъ, вслѣдствіе того, дѣлается равносильнымъ небытію. Нѣтъ, они пользуются лишь условною безвѣстностью, которая отнюдь не мѣшаетъ имъ подчиняться обычнымъ законамъ, управляющимъ органическимъ міромъ вообще. И они ходятъ другъ къ другу въ гости, ссорятся, мирятся, сплетничаютъ, лгутъ, пустословятъ, женятся, рожаютъ дѣтей; и они имѣютъ свои удачи и невзгоды, и они около чего-то копошутся и что-то создаютъ. Мало того: нѣкоторые изъ нихъ, болѣе терпѣливые и настойчивые, даже достигаютъ своего рода извѣстности...

Повторяю: ихъ безвѣстность неполная и условная. Полною и безусловною неизвѣстностью пользуется только человѣкъ лебеды, и ужь, конечно, едва ли найдется субъектъ достаточно наивный, чтобы назвать этотъ удѣлъ блаженнымъ. Молчалины очень хорошо понимаютъ, что бытіе лучше небытія, и потому равно сторонятся и отъ безусловной безвѣстности человѣка лебеды, и отъ громкой извѣстности какого нибудь Галилея, которая, на ихъ глаза, можетъ привести лишь къ непріятнымъ столкновеніямъ съ полиціей...

Начать съ того, что въ словахъ „ни въ чемъ не замѣченъ“ уже заключается цѣлая репутація, которая никакъ не позволитъ человѣку безслѣдно погрузиться въ пучину абсолютной безвѣстности. Ни въ чемъ не замѣченъ—это значитъ: послушливъ, благонадеженъ, исполнительенъ и, стало

быть, можетъ быть пристроенъ къ какому угодно дѣлу. А коль скоро человѣкъ „пристроенъ къ дѣлу“, коль скоро онъ надѣлъ на себя вещественный знакъ этого устройства (чиновничій вице-мундиръ, или прикащичью чуйку — это все равно), такъ тотчасъ же онъ сдѣлался человѣкомъ „нужнымъ“, а слѣдовательно и извѣстнымъ. Но это именно та безобидная, тихая, почти безвѣстная извѣстность, которая никого не затрогиваетъ, никому не бьетъ въ глаза, не прибѣгаетъ къ „малороссійскому борщу“, но и не огорчаетъ начальства, утверждая, что земля вертится. Однимъ словомъ, извѣстность, которая освѣщаетъ и согрѣваетъ кроткимъ своимъ свѣтомъ только существованіе своего скромнаго обладателя, извѣстность, не переступающая предѣлы той устричной скалы, къ которой прикрѣплены раковины, скрывающія Молчалиныхъ... Я знаю, есть люди, изъ категоріи „безпокойныхъ“, которые, быть можетъ, сочли бы себя оскорбленными, еслибъ имъ предложили такого рода извѣстность, но думаю, что въ этомъ случаѣ прозорливость и благоразуміе не на ихъ сторонѣ, а на сторонѣ Молчалиныхъ. Только послѣдніе вполнѣ ясно понимаютъ, что вмѣстѣ съ безвѣстной извѣстностью открывается цѣлый міръ не блестящихъ, но прочныхъ благополучій, которыя въ глазахъ солиднаго человѣка гораздо цѣннѣе всякихъ апоѳеозъ. Тутъ все: и вѣрный кусокъ пирога, и благосклонная улыбка „нужнаго человѣка“, и спокойный послѣобѣденный сонъ, и чувство обезпеченности отъ риска сломать себѣ шею, провалиться сквозь землю, или инымъ образомъ пропасть... Чего еще надобно!

Божій міръ кипитъ такими безвѣстными извѣстностями, но даже и это служитъ имъ на пользу. Благодаря тому, что ихъ много, на нихъ не обращаютъ должнаго вниманія. Думается, что все это образы безъ лицъ, тѣни, на которыхъ достаточно дунуть, чтобы онѣ исчезли безъ слѣда. Однако, въ этомъ взглядѣ на Молчалиныхъ кроется значительное недоразумѣніе. Вглядѣвшись пристальнѣе въ жизненный круговоротъ, мы безъ труда убѣдимся, что все въ этомъ круговоротѣ создается

руками именно тѣхъ „и другихъ“, отъ которыхъ мы такъ самонадѣянно отворачиваемся. Джеффрізы потому бросаются въ глаза, что они какъ-то ужъ слишкомъ блестяще злы; Молчалины, напротивъ того, скромны и податливы, и вслѣдствіе того остаются незамѣченными. Но не забудемъ, что Джеффрізы ничего не могли бы, еслибъ у нихъ подъ руками не существовало безчисленныхъ легионовъ Молчалиныхъ. Одного этого соображенія, по мнѣнію моему, вполне достаточно, чтобы не проходить мимо послѣднихъ съ тѣмъ обиднымъ равнодушіемъ, которое для всѣхъ Молчалиныхъ отводить мѣсто гдѣ-то далеко, за предѣлами исторіи.

Для большей вразумительности, приведу примѣръ. Позднимъ вечеромъ, вы идете по улицѣ, и вдругъ натываетесь на зданіе, сплошь горящее огнями. Это зданіе — храмъ, въ которомъ отъ начала міра священнодѣйствуютъ „и другіе“. Они день и ночь изнемогаютъ здѣсь, копаясь въ нѣкоемъ мѣсивѣ, въ которомъ и сами ничего другого не разберутъ, кромѣ того, что тутъ когда нибудь чортъ ногу сломить. Тѣмъ не менѣе, благодаря обыденности зрѣлища, мы такъ мало обращаемъ на него вниманія, что проходимъ мимо, не остановивъ на немъ даже мысли своей. И что жь! не успѣли вы сдѣлать нѣсколько шаговъ, какъ васъ настигаетъ стрѣла. Вы озираетесь, ищите... не трудитесь искать! Знайте впередъ, что стрѣла пущена вамъ въ догонку вѣрною и опытною рукой одного изъ „и другихъ“... Что нужды, что, пуская стрѣлу, онъ и самъ не сознавалъ неключимости своего дѣйствія—все-таки онъ пустилъ ее, и она настигла васъ!

Я видѣлъ однажды Молчалина, который, возвратившись домой съ обогранными безсознательнымъ преступленіемъ руками, преспокойно принялся этими самыми руками разрѣзывать пирогъ съ капустой.

— Алексѣй Степанычъ! воскликнулъ я въ ужасѣ:—вспомните, вѣдь у васъ руки...

— Я вымылъ-сь, отвѣтилъ онъ мнѣ совсѣмъ просто, доканчивая разрѣзывать пирогъ...

Вотъ каковы эти „и другіе“, эти чистые сердцемъ, эти довольствующіеся малымъ Молчалины, которыхъ игнорируетъ исторія, надъ благодушіемъ которыхъ умиляются современники, и которымъ кварталъ безпрепятственно выдаетъ аттестацію: *ни въ чемъ не замѣченъ!*..

Это „я вымыль-сь“ — чѣмъ оно хуже знаменитаго „qu'il thought“?

Я вовсе не желаю, однакоже, чтобы читатель заключилъ изъ этого, что Молчалины люди отпѣтые и закоренѣлые; я хочу только сказать, что они совсѣмъ не тѣни, не призраки, а составныя и притомъ очень дѣятельныя части того громаднаго собирательнаго, которое, подъ разными формами и наименованіями, оказываетъ очень рѣшительное тяготѣніе надъ общимъ строемъ жизни.

Дѣло въ томъ, что Молчалины не инициаторы, а только исполнители, не знающіе собственныхъ внушеній. Вотъ что спасаетъ ихъ и отъ завистливыхъ подбискиваній современниковъ и отъ строгостей исторіи. И потому, ихъ обезпеченность, солидность и умѣстность растутъ по мѣрѣ того, какъ уменьшается, такъ сказать, истаяваетъ въ нихъ сознательность.

„Изба моя съ краю, ничего не знаю“—вотъ девизъ каждаго Молчалина. И чѣмъ ярче горитъ этотъ девизъ на лбу его, тѣмъ прочнѣе и защищеннѣе дѣлается его существованіе. Съ этимъ девизомъ онъ благополучно проползетъ между всевозможными Спиллами и Харибдами, и въ урочный часъ, не раньше и не позже, придетъ къ вождѣлѣнной пристани.— Кто идетъ? кликнетъ его у пристани дозорщикъ.—Я, Молчалинъ! будетъ отвѣтъ.—Вали его въ общую яму!

И со временемъ, изъ Молчалина выйдетъ неподобное удобреніе, хотя исторія даже и этой заслуги за нимъ не признаетъ. Просто, говорить, пропадаетъ, даже не произведи удобренія... о! стократъ счастливый Молчалинъ!

Какъ достигаетъ Молчалинъ своего благополучія? Достается ли оно ему задаромъ, какъ нѣчто врожденное, или же

требуется извѣстная сумма усилій, чтобы добраться до него, усилій, которыя и въ чащу блаженства примѣшиваютъ значительную дозу горечи?

Казалось бы, проще всего разрѣшить вопросъ въ первомъ смыслѣ, такъ какъ нѣтъ ничего законнѣе и естественнѣе, какъ совпаденіе ничтожества и безвѣстности. Все ратуетъ въ пользу такого совпаденія: и духовное безсиліе Молчалиныхъ, и отсутствіе инициативы, и забитость, и убожество обстановки; все толкаетъ человѣка въ самую глубь сумерекъ. Для него не требуется ни усилій, ни рѣшимости потонуть: сама почва, на которой онъ стоитъ, одарена непреодолимо втягивающими свойствами. Человѣкъ самъ собой, не слышно погружается на дно, и тамъ надъ нимъ постепенно происходитъ процессъ увяданія, на которое онъ фаталистически осужденъ.

Тѣмъ не менѣе, такое рѣшеніе было бы справедливо лишь въ томъ случаѣ, еслибъ рѣчь шла о той абсолютной безвѣстности, которою пользуется человѣкъ лебеды, и при которой, дѣйствительно, бытіе рвѣется небытію. Но Молчалинъ не хочетъ такой безвѣстности и не соглашается умереть. Его претензію составляетъ область умѣренности и аккуратности, которая не только не исключаетъ живучести, но даже дѣятельнымъ образомъ поддерживаетъ ее. Понятное дѣло, что существованіе подобной претензіи не можетъ обойтись безъ усилій и жертвъ, и что въ этомъ видѣ задача Молчалина уже принимаетъ размѣры сложнаго и вовсе не шуточного предпріятія.

Безсиліе, забитость, приниженность и робость—плохіе помощники въ дѣлѣ жизнестроительства, но они въ замѣчательной степени изоцряютъ въ человѣкѣ одну способность: исключительно, почти болѣзненно сосредоточиваться на мелочахъ своего личнаго я. Это маленькое, вѣчно ноющее я, окрѣпнувшее въ суровой школѣ угнетенія, дѣлается для своего обладателя центромъ, къ которому пріурочивается жизнь цѣлой вселенной. Пускай кровь льется потоками, пусть чело-